



Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича

(рассказанные им самим)

Глава пятнадцатая

Идиотизм деревенской жизни

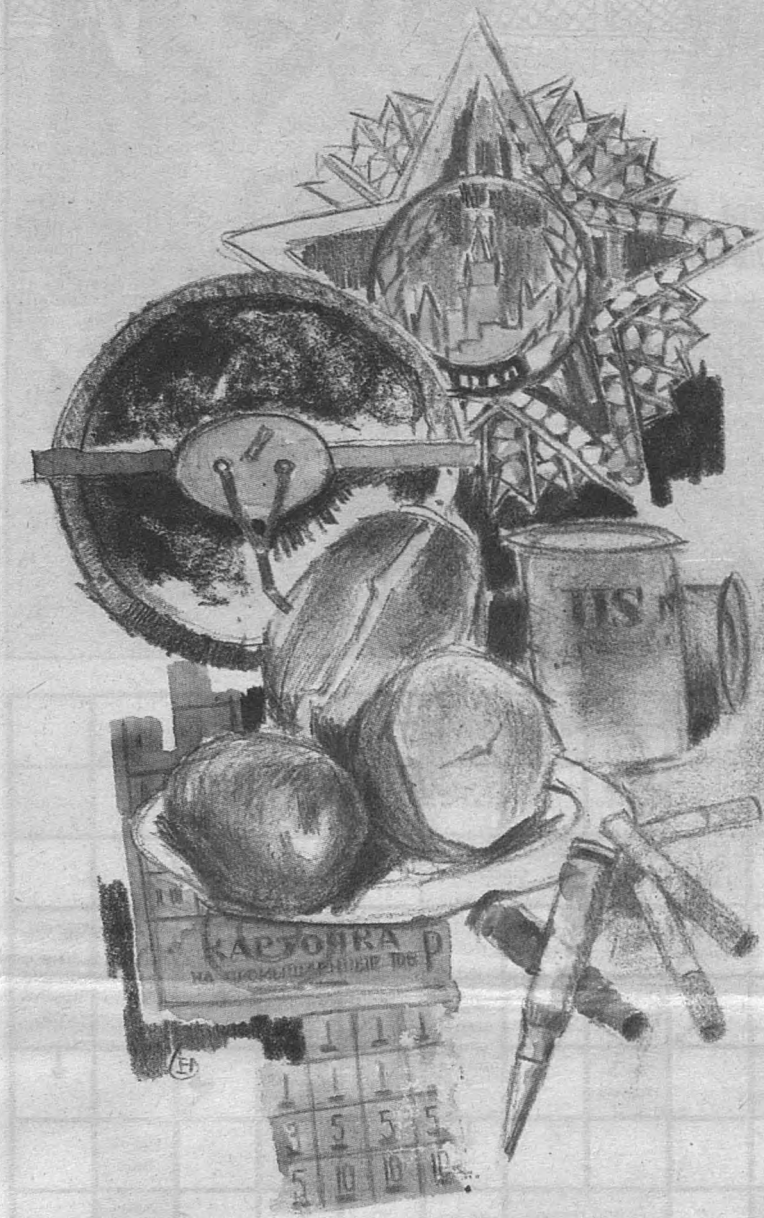
Война чем дальше от нас отдалялась, тем страннее выглядела. Старший брат моего друга Толика Васька Проворов ушел на фронт и очень скоро вернулся, но уже без руки. Как будто за тем туда и ходил, чтобы там оставить лишнюю руку. В самом конце войны дядю Володю с председателей колхоза сместили (должность кому-то другому понадобилась) и забрали в армию, несмотря на возраст и плоскостопие. Папа шутил, что теперь уж, с помощью дяди Володи, победа нам обеспечена. Укрепляли уверенность в ней и немецкие военнопленные, которых пригнали в Ермаково и распределили кого на конюшню, кого в ремонтные мастерские, а большинство на полевые работы. Признаком приближения победы стали для нас и дошедшие до Ермакова американские подарки. Мне достались черная мерлушковая ушанка вполне русского покроя и желтые солдатские ботинки из толстой кожи с пупырчатыми подошвами. Они оказались мне великоваты, но с шерстяными носками с ног не спадали. Замечательно было в них ходить, оставляя на земле красивые следы. Еще больше радости доставляли «рационы» — до сих пор помню эти картонные коробки, плотно набитые тушенкой, сгущенкой, шоколадом, галетами, сигаретами и жвачкой. Мы их открывали, как скатерть-самобранку, дивясь, что такое изобилие изначально предназначалось на пять дней одному солдату. Я вспоминал эти «рационы», когда сам служил солдатом, и основным рационом нашим были мерзлая картошка да каши из трех сортов крупы: «кирза», «шрапнель» и «конский рис» (дробленый ячмень, перловка и овес).

Каждый день по радио передавали сообщения Левитана о взятии нашими войсками европейских городов и столиц и о московских салютах, но это были громкие вести для всей страны, а тихие, персонального назначения, приходили в почтовых треугольниках, и получатели их, женщины молодые и старые, выскакивая во двор, выли на всю округу или рыдали дома в подушку.

В сорок пятом люди гибли не только на войне. В речке Тошне, которую в самом широком месте ничего не стоило переплыть, жители Назарова тонули в год по несколько человек. Пьяные, ныряя вниз головой летом, ударялись о коряги. Дети зимой под лед проваливались. Однажды мы с братом Эмкой пошли к речке по воде. Увидели, что лед только-только стал, а на нем человеческие следы. Эмка ударил ведром по льду и проломил лунку. Мы подивились: кто же, отважный или дурной, по такому льду переправился? Набрали воды, пришли домой, не успели отдышаться — видим в окно: народ к речке бежит, кто с баграми, кто с ботами — дубинами величиной с оглоблю с утолщением на конце. Этими ботами летом колотили по воде — ботали — загоняли рыбу в сети. Побежали и мы к реке. А там барахтаются в полынье у противоположного берега два человека, и один из них истощенным голосом вопит: — Спасите!

Оказалось, это наши соседи Макарычевы, Иван и его четырнадцатилетний сын Гурька, тонут. Вечером Иван, расконвоированный заключенный, отбывавший срок неподалеку, самовольно пришел из лагеря и благополучно пересек реку, а обратно взял в провожатые Гурьку. Вот их двоих лед и не выдержал. Мать Гурькина тоже по льду мечется, кричит: «Гуренька! Гуренька!» Тянет руку к сыну, он тянется к ней, но в него вцепился отец. Гурька кричит: «Папа, пусти!» Иван его не пускает, но вопит: «Спасите!» Мать тоже провалилась, но, подмина под себя ломающийся лед и один валенок утопив, как-то на лед выползла и опять назад тянется. Мужики, привязав длинные веревки к ботам, швыряют их утопающим, часто попадая им в голову. Боты обледенели, у тонущих руки замерзли, силы кончаются. Ивану кричат: «Отпусти сына! Его вытащим, а потом и тебя!» Но он ополоумел, не отцепляется и все кричит: «Спасите!»

А рядом на берегу лежали лодки. И если бы с самого начала взять одну да пробить дорогу во льду, можно было до тонущих доплыть и взять



Я бежал, как тот марафонец, что нес соплеменникам весть о победе. Правда, моя дистанция была покороче — километров пять-шесть. Я влетел в Назарово и у всех изб кричал, что проклятая война кончилась. В деревне радио не было, поэтому весть о победе назаровцы узнали не от диктора Левитана, а от меня

их на борт. Но мужики все швыряют боты, а Гурькин отец все кричит, но все режет и безнадежней. И вот все стихло. На этом берегу стоит молчаливый народ. У того берега полынья и в ней две шапки покачиваются, как поплавки.

— Эх! — вдруг прозвучал веселый и озорной голос однорукого Васьки Проворова. — Пойду и я тонуть к ...не матери!

Он толкнул лодку с берега, к нему впрыгнул еще кто-то, за несколько секунд они добрались до полыньи, еще через минуту утопленники лежали рядом с нами на берегу, и мать припала к посиневшему телу сына и выла дико, дурно и однотонно. Кто-то предложил попробовать утопленников откачать, но Васька только махнул рукой, хотя шанс, возможно, еще имелся...

Эту картину — как тонули отец с сыном на виду всей бессмысленно суетившейся деревни — я запомнил на всю жизнь, часто видел в ночных кошмарах и вспоминал, когда слышал выражение «идиотизм деревенской жизни».

Две победы

Большая победа над Германией совпала с моей личной, тоже значительной. За несколько дней до того мой сосед и сверстник Тришка показывал мне перочинный нож с лезвиями, большим и малым, с ножничками, открывалкой для консервов и шилом. Он все эти лезвия раскрывал и закрывал, потом оставил раскрытым только маленькое и предложил: — Хочешь, я тебя ножом ударю?

Я в серьезность его намерения не поверил и в шутку сказал: «Ну, ударь». Тришка тут же

размахнулся и ударил меня ножом в левую бровь. Еще бы на полсантиметра ниже — и я бы остался без глаза. Рана оказалась неглубокая, но кровь текла обильно. Зажав рану рукой, я побежал домой, где соврал матери, что сам упал и обо что-то порезался. Шрам остался у меня на всю жизнь. Я был потрясен поступком Тришки, я не понимал, как он мог ударить меня и за что. И воспыал жадой мести.

Обзаведясь довольно толстой палкой, я без нее из дома не выходил. Дня два ходил безрезультатно, Тришки во дворе не было. На третий день мать послала меня по воду. Я взял ведро и палку, вышел во двор и тут же встретил Тришку. Он шел мне навстречу, теперь уже не с перочинным ножом, а с настоящей финкой с наборной ручкой. Он шел и любовался лезвием, сверкавшим на солнце.

— Ну, что, — увидев меня, сказал он враждебно, — мало попало?

— Мало, — сказал я. И стукнул его палкой по голове — раз, два, три...

Он закрывался руками, я бил по рукам. В конце концов он бросил нож и с криком кинулся от меня бежать. А я бросил ведро и палку и побежал домой.

Мать, увидев меня, всполошилась:

— Что с тобой, почему ты так запыхался? Почему ты такой бледный? — И, не дождав ответа, вдруг прокричала: — Война кончилась! Ты слышишь? Война кончилась!

Она обняла меня и заплакала. А потом сказала:

— Беги в Назарово, скажи тете Соне, что Володю уже не убьют.

И я побежал, как тот первый марафонец, что нес соплеменникам весть о победе. Прав-

да, моя дистанция была покороче — километров пять-шесть. Я влетел в Назарово и, прежде чем завернуть к тете Соне, обежал всю деревню и у всех изб кричал, что проклятая война кончилась. В деревне радио не было, поэтому весть о победе назаровцы узнали не от Левитана, а от меня.

Игра в «половинки»

В ноябре мы вернулись в Запорожье. Ту часть, в которой мы коротко жили перед войной, было не узнать — сплошные руины. Центр города частично сохранился, и там, недалеко от рынка, поселилась семья Шкляревских, вернувшаяся в Запорожье незадолго до нас. Они занимали комнату в убогой, полуподвальной квартире с коридорной системой, и мы въехали к ним. Взрослым, наверное, такое сожительство не казалось приятным, но я был рад, что обе родные мне семьи живут вместе.

В соседней комнате жили тетя Галя, жена погибшего дяди Володи, брата моего отца, ее сын Юра, дочь Женя и их дедушка по прозвищу Напмер. Слово «напмер» старик говорил вместо «например» и употреблял очень часто: «Вот иду я, напмер, по улице, встречаю, напмер, соседа, и он мне, напмер, говорит...»

Хотя старая часть города сохранилась лучше новой, и здесь от многих домов остались груды битого кирпича, который находил себе в тех условиях нестандартное применение. Соседский мальчик таскал кирпич на веревке, воображая себе, что это игрушечный грузовик, его сестра такой же кирпич заворачивала в тряпки и пела ему колыбельные песни. А я встретил местных ребят, которые предложили мне играть в «половинки». Не зная, что это такое, я пошел с ними в руины. Там они, разделившись на две группы, стали хватать битые кирпичи и, укрываясь за остатками стен, кидать друг в друга с явным стремлением поразить цель — попасть, если повезет, противнику в ногу, в живот, а то и проломить голову. Мне эта игра не понравилась, и больше в подобных забавах я не участвовал.

«Феня» и «мова»

Изо всего, что продавалось на запорожском базаре, мне запомнились круглые толстые лепешки из белой глины для побелки, американские сигареты по рублю за штуку и водопроводная вода со льдом (не знаю, где его летом брали), тоже по рублю за кружку. Народ на базаре делился на торговцев, покупателей, воров и нищих. Среди нищих было много недавних фронтовиков, иные даже в недоношенной форме и с орденами. Самые страшные инвалиды (я таких встречал и потом), рассчитывая, может быть, на безнаказанность (кто ж их посмеет тронуть?), были склонны к странному хулиганству. Один безногий в морской форме подвезжал на самодельной тележке к теткам, торговавшим глиной, и начинал мочиться прямо под их лепешки. Тетки не сердились, не ругались, а быстро хватали свои лепешки и перебежали на сухое место.

На базаре я получил однажды урок языка, которого до того не слышал. Мальчишка, примерно моего возраста или на год моложе, что-то спер с прилавка. Мужики его поймали, окружили и приготовились бить. Тут я влез в середину и стал кричать на мужиков, как им не стыдно таким здоровым бить влятером или вшестером одного маленького. Потом я задним числом сам удивлялся, что мужики заодно и меня не побили, а устыдились и мальчишку отпустили. Я спросил, за что его хотели побить. В ответ он заинтересовался:

— Ты по фене ботаешь?

Вспомнив, как назаровцы «ботали» — загоняли длинными дубинами-ботами рыбу в сети, я ответил утвердительно. Тогда он произнес длинную речь на иностранном языке с непонятными словами «клифт», «бачата», «прохоря», «писка» и «сива». Это и была «феня» — блатной жаргон. Через три года, пройдя через ремесленное училище, я этим языком овладел свободно, но пассивно. То есть понимал все, но сам употреблял слова редко и выборочно.

Вообще способность к языкам у меня всегда была. Через пятьдесят лет после того, как покинул Украину, я согласился в Киеве дать местному телевидению часовое интервью по-украински. По окончании записи я спросил ведущего:

— Ну, як моя українська мова?

— Та нічого, — сказав он. — Приблизно, як у наших депутатів...

Продолжение следует